

Василий ШУКШИН

СОЛНЕЧНЫЕ
КОЛЬЦА

В русской литературе немало примеров, когда писатели обращались к жанру поэзии-автобиографии. У Василия Шукшина тоже была такая задумка. Он даже начал делать самые первые наброски, но... они так и остались незавершенными. Перебирала архив, Лидия Федосеева-Шукшина нашла эти разрозненные странички, бережно перепечатала и передала нам для публикации в полосу, посвященную шестидесятилетию Василия Макаровича. Пусть же в эти дни прозвучит и его слово.

Я НАЧИНАЮ помнить себя с такого случая. Знойный полдень. Сенокос. В селе, на улицах — ни души. Только иногда по улице проскачет верховой или протарахтит джипик, и опять надолго установится сухая, горячая тишина.

Я сижу на дороге в мягкой шелковистой пыли, стряпая пирожки. Это делается просто: надо принести из дома ковш воды и эту воду по немножку плескать в пыль. Образуются вязкие комочки грязи. Из них-то и лепятся пирожки. Но пирожки — пироженки. Делаются они для того, чтобы разложить их потом рядом поперек дороги и жидать, когда поедет какой-нибудь мужик. Жидать приходится долго. Наконец в конце улицы показался мужик на телеге. Я залезаю в крапиву у прясла (крапива у нас растет высокая, в рост человека, и жалит только ее верхняя часть. Внизу же можно спокойно спрятаться) и оттуда смотрю, как приближается телега. Она все ближе, ближе... У меня замирает сердце; сейчас проедет по моим пироженкам. Мужик увидел пироженки, оглянулся по сторонам, лениво подступил к ним... Я с каким-то неистовым трепетом подбежал к ним, как сперва лошадиные ноги расшвыряют мои пироженки, потом по ним проехали четыре колеса. Выскочил из крапивы и стою над пироженками. Почти все погибли. Те, что с краю, уцелели, а средние все погибли. Снова принимаюсь стряпать и выстраиваю рядок поперек дороги. Есть в этой работе какой-то смысл. Наверно, вот что: мужик до последнего момента не видит мои пироженки на дороге, а я знаю, что они лежат там, и я знаю также, что, увидев их, мужик оглянется. Я это знаю и заранее жду, когда он оглянется. И меня охватывает сладостный восторг и волнение, когда он оглядывается. И еще — очень приятно сидеть в пыли. У меня, конечно, на ногах «цыпочки», но это уже больше беспокоит маму. Вечером она будет отнимать меня у колоды.

Вот за таким-то занятием, когда я мирно сидел и стряпал пироженки, меня захватил соседский бычок. Он был бойливый, как черт, а его ухаживало. Мы, ребятишки, все его боялись. Мы его дразнили издалека, а когда он, нагнув голову, кидался на нас, мы разбегались кто куда. А тут я, занятый за пироженками, проглядел его. Увидел, когда он был в шагах пяти. Он стоял и смотрел на меня. Я испугался, что, чтобы бежать, и тут же сел — ноги откапали. А телек взбрыкнул задними ногами, злое, злое, злое и помчался ко мне. Я, кажется, заревел, упал на спину. Он приехал катить меня по дороге. Я молчал. Потом ко мне вернулся голос, и я заорал. Заорал так, что телек отскочил, расставил передние ноги и долго и глупо смотрел на меня. Кто-то выскочил из избы и выругал меня.

Вечером в нашей избе появилась грязная сухая цыганка с большими вороватыми глазами. Я лежал на печке, а цыганка шуршала в куты, у печки, юбками и торопилом шептала. Мама с надеждой и подозрительно смотрела на нее. Цыганка растопила в ложке воск, вылила тот воск в стакан с водой — там образовалась какой-то желтый бесформенный комочек. Цыганка торопилом закивала маленькой галочей головой. Я не помню, что она говорила, что-то говорила. Помню, как мама сказала: «Телек напугал-то, а не робака». Потом они говорили про нашего петуха. Цыганка почему-то кричала, мама тоже сердилась и говорила: «Ишь ты, какая! Ишь ты!» — Потом я выпил теплую воду из стакана, над которым колдовала цыганка, и уснул.

Потом помню себя за таким занятием. Жидос на год, видно, туго. Неделю. Мама ухаживала на работу, а нас с сестрой оставила у деду с бабушкой. Там мы и ели. И вот... Дед строгает в заводе, бабушка полет в огороде грядки.

Я сижу у верстака и спешно золотисто-солнечные кольца стружечки. И вдруг вспоминаю, что у бабушки в шкафу лежат панешки. Выхожу из заводи и направляюсь к дому. На дверь накинута замоч — просто так, без ключа. (Сестра в огороде с бабушкой). Если замоч вынуть из пробы и открыть дверь, бабушка услышит и спросит: «Ты чего там, Ванька?» — А мама наказывала — я это хорошо помню — не надевать деду и бабушке, особенно деду, не просить есть: сколько дадут, столько и ладно.

Окно в избу открыто. Оттуда пахнет свежесыпанным хлебом и пожелтевшим пшеном. В углу стоит, тускло поблескивая стеклами, пузатый шкаф — там шанешки.

Я влезаю в окно и осторожно, на цыпочках, иду по крашеному полу... Открываю шкаф, беру самую маленькую шанешку и тем же путем убегу из избы. Вспоминаю, что до того что-нибудь или нет, не помню. Но я помню, как я крадусь по избе на цыпочках. Откуда-то я знал, что так надо.

Вечером бабушка, посмеиваясь, рассказывала

маме, как я лазил в окно (она из огорода все видела). Мама не смеялась. У нее было недолгое лицо.

— Вы сами-то уж сроду не догадаетесь... Скупые вы шибко, мам, уж до чего скупые.

Бабушка обиделась.

— Кормим ведь... Чего же скупые? Да он и есть-то не хотел. Так — пакостник.

ЕЩЕ помню такое. Стоит у нас посреди избы страшный маленький человек с рыжей бородой — Яша Горичий, грозит пальцем и говорит: «Ты меня не пужай, не пужай — отпужкайся». А мама стоит перед ним и говорит негромко: «Ну смотри, Яша, смотри... Я тебя не пужаю... Не докучивай же тебе».

Потом Яша полез на подати и стал оттуда сбрасывать березовые чурбаки. (Березник около села запрещалось рубить, но его рубили и прятали, где могли. А Яша Горичий, сельский активист, искал его по домам).

И еще одно такое помню.

Пропал у нас телек. Телек самого не помню, а помню, как мы его искали. Мы пошли с мамой к селу, к озеру. Уж вечерело. Звали мы его, звали: «Тпрусь! Тпрусь!» — нет телека, как провалился. Вдруг мама села на землю и сказала: «Ой, сынок, мне что-то плохо... Господи, господи. Дорогу домой найдешь? Беги скорей к бабе...»

Я сказал, что найду. Помню: бежал. Я воображал, что я на коне. Кричал сам себе: «Но!», взбрыкивая ногами, ржал...

Бабушка перепугалась. Я предложил ей тоже сесть на коня и гнать вмах. Но так только махнула рукой и семенила рысью.

Мама повстречалась нам недалеко от селом. Она тихонечко шла по дороге и держалась за груду.

Они о чем-то стали говорить с бабушкой, а я шел сзади «пешком».

ЕЩЕ случай в яслях.

Если были двухэтажные. Окна открыты. Я влез на подоконник на втором этаже, сел и свесил ноги... И тут увидел маму. Она мне снизу негромко говорит: «Ване-е, слазь, сынок, с окна. Слазь, я посмотрю, ну их ты слезешь. Только туда, в избу слазь... Ну-ка...» Я слез с подоконника.

Потом мама вбежала, взяла меня на руки и понесла. А на лестнице встретилась нам наша няня, толстая, молодая тетя. Мама опустила меня с рук, а няня побежала от нас. Вниз. Мне стало смешно.

— Корова симментальская! — Мама ничего не боялась. Потом, когда я уже стал взрослее, я слышал рассказ о том, как нас хотели выслать из избы. Отца арестовали и унагли в район, в «катажалку». Сказали: «Хотел, сволочь такая, восстание подымать». Еще многих «взяли» из деревни. Больше мы их никогда не видели. Все они в 1957 г. полностью реабилитированы «за отсутствием состава преступления».

Остались мы с мамой: мне три с лишним года, Наташке, сестре, — семь месяцев. Маме — двадцать два. А к нам на другой день пришли двое: — Вытряхивайтесь.

Мы были малыши и не поняли серьезности момента. Кроме того, нам некуда было идти. Мамы тогда отлучились «вытряхиваться». Мы с Наташкой промолчали. Оди вынул из кармана наган и опять сказал, чтобы мы вытряхивались. Тогда мама взяла в руки безмен и стала на пороге. И сказала: «Иди, иди. Как дам безмену по башке кула твоим левым».

И не пустила — ушли. А мама потом говорила: «Я знала, что он не станет стрелять. Что он, дурак, что ли?» ...А когда взяли отца, она сама же плакала. Все жалко: отпустили. Ехали в каких-то товарных вагонах, двое суток ехали. (Сейчас за шесть часов доезжают). Доехали. Пошли в тюрьму. Передачу приняли. — Мне же надо было сразу же отъехать, а я на два раза разделила, думаю: пусть знает, что я еще здесь, все, может, легче будет, — рассказывает мать. — А пришла на другой день — не берут. Нет, говорят, такого.

Потом они пошли к какому-то главному начальнику. Сидит, говорит, такой седой, усталый, вроде добрый. Посмотрел в книгу и спрашивает: — Дети есть?

— Есть, двое.

— Не жли его, устраивай как-нибудь свою жизнь. У него высшая мера наказания.

Соврал зачем-то. Отца реабилитировали в 56-м году посмертно, но в бумажках было сказано, что он умер в 1942 году. В чем обвинили отца, я так и не знаю. Одни говорят: вредительство в колхозе, другие — что будто он подговаривал мужиков поднять восстание против Советской власти.

Как бы там ни было, не стало у нас отца.

...Так стали жить. Голоду нестерпимости и холоду. На всю жизнь я сохранил к матери любовь. Всегда ужасно боялся, что она умрет — она хворала часто.

Потом в нашей избе появился другой отец. Жить стало легче.

А потом грянула война, и другого нашего отца не стало, убили на Курской дуге.

Опять настали тяжелые времена...

Публикацию подготовила
Лидия ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА.

К 60-летию

со дня

рождения

Василия

Макаровича

ШУКШИНА

Я пережил за свой век немало. И повидал, естественно, множество разных людей. Кажется, и вся моя жизнь на виду людей прошла, как говорится, на жару. Много в ней было немешано — и доброго, и горького. И потому особенно люблю людей не говорливых, скорых на слово, высканивающие зачастую вперед мысли, а сдержанных, немногословных, живущих какой-то внутренней яростной жизнью. Везло мне и на таких людей. Одним из них был Вася Шукшин, Василий Макарович...

Меня часто спрашивают на встречах со зрителями: каким он был?

НЕ УХОДИЛ БЫ!

Рассказать трудно, описать словами — еще труднее. Наверное, перед каждым из нас, кто с ним встречался, работал рядом, жил, он предстал по-своему. Хорошо, что почитаемая мной газета «Советская Россия» в год шестидесятилетия Василия Макаровича посвятила ему уже не одну статью. Хорошо, что не обиделось делиться этим, с теплым поминанием и словом матери, и близких ему людей, и раздумьями друзей, товарищей.

«Дуэтильными» называют таких работников, называют с российским нашим уважением. А он был «трехжилым»? И писатель, и режиссер, и актер. Иному и одной такой поклажи — «за глаза». Ему же — мало. Жил он азахлеб, яростно, торопился, будто чувствовал за спиной ледяное дыхание той, с костью, той, которая оставила себя — каплю за каплей... И в этом сказывалось его жизнелюбие... Не потому ли и писал он в рассказе «Земляники» «Стариковское дело — спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокровища, изумительная вечная красота жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею, и ушел».

И уходит. И тихим медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдают шаги уходивших. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходил бы!...

Это написано так мужественно, но в то же время отчего-то тоскливо шепчет сердце — будто писал он и про себя. Да так оно и есть... Я его узнал, когда он был зрелым художником, известным актером. Он уже написал рассказы, крупные прозаические вещи — «Любимый», например. Мы, актеры, всегда относимся с осторожностью к людям, которые как-то и вдруг необычно ярко заявили о себе, о своем таланте. А я — особенно: потому что у меня самого всегда сложно происходит творческий процесс, процесс постижения, открытия нового, а всегда отношусь самокритично к каждой своей работе.

Началось все с моей ошибки. Шукшин был тогда уже известным писателем, актером. И вот однажды он позвонил мне: «Всеволод Васильевич, хочу ставить как режиссер картину. Не могли бы вы принять участие в съемках?» Я спросил: «А кто написал сценарий?» — «Я». — «А ставите ее будете тоже вы?» — «Тоже я». И вот тут-то меня заело: не много ли хочет он? Что он — и жнец, и пшеница, и на дуле игрец? Да, то, что он актер талантливый, Шукшин доказал в фильмах «Два Федора», «У озера»... А теперь вот начинать писать сценарии да еще и ставить их! И мне показалось тогда, что в чем-то здесь Шукшин переоценивает себя. Взял да сослался на себя, будто знает, не смогу принять участие. Он сказал: «Ну что ж, очень жаль. А мне бы хотелось...» Я буркнул: «Ну как-нибудь... в другой раз!».



И вот вышла эта самая его картина «Живет такой парень». Не скрою, смотрел я ее с пристрастием. Она мне очень понравилась. Помоему, великолепный фильм! И такое меня охватило чувство, что я решил написать ему письмо, покаяться, так мне было обидно, что я сам себя наказал. Но не написал. А сказал ему уже при личной встрече. Так вот и завязались наши дружеские отношения с Шукшиным.

Потом он задумал снимать свою новую картину — «Ваш сын и брат». И вновь мне позвонил, предложил встретиться. Условились. И стал он мне рассказывать о замысле фильма, об особенностях сценария, об образе Ермолая Боевнина, в котором он хотел бы видеть меня. А надо сказать, это был типично, шукшинский герой, простой и сложный одновременно характер, словно витавший в себя народную мудрость, нравственность, но и раздумья и боль за то, что не все уж так гладко и складно в его жизни, в его семье. И раскрывает он свои горькие думы совсем не всем.

Говоря об этом, Шукшин все поглядывал на мои руки. Что его могло так заинтересовать? Быть может, нелепая накладка, мальчишеская глупость? Я так и спросил его: «Да нет, — ответил. — Я вот все смотрю: у Ермолая руки, они такие крапчатые, огрубевшие. Он — человек, все время связанный с землей, с тяжелой физической работой. У таких с годами кожа на руках дубеет. А вот у вас такие, какие у Ермолая быть и не могли...» Я посмотрел на свои руки — действительно не Ермолаевы, но сказал, что, конечно, все это имеет большое значение для образа, но мне кажется, если только человеческая сущность Ермолая будет мною понята правильно, если мы найдем верные краски, то на руки-то никто из зрителей и не обратит внимания. Так на том мы с ним и порешили.

Я об этом говорю потому, что в процессе съемок не раз убеждался: для Шукшина важна правда не только характера в целом, но и правда, жизненная точность. Он придиричиво принимал участие и в поисках внешней характеристики Ермолая. Сделали, например, мы первый грим, поборали бороду, усы, нашли точно одежду. Смотрю, он улыбается. У него были такие хитрые глаза, мон-

гольские, если так можно сказать — прищуренные. Руки потирает, довольный: «По-моему, Всеволод Васильевич, получается, а?» Я говорю: «Да не знаю еще, Вася... Попробуем, как-то еще все это получится на пленке...». Сделали пробу. «Ну вот, видите — говорит он, — я не зря вам предлагал. Мне кажется, что Ермолай у нас «в кармане». Так и сказал.

И начали снимать. Ну, что можно сказать, как все это происходило? За плечами у меня почти семьдесят фильмов было много режиссеров, разных, и взаимоотношения с ними складывались по-разному. Но до сих пор помню ту первую свою картину у Шукшина. Буквально каждый съемочный день. До удивления просто, легко работалось. Слово высветлялось все творчеством. Шукшин так доверял актеру, что у того появлялись неограниченные возможности самовыявления. Он же только следил за тем, чтобы актер «не сбился с образа». Но эти редкие замечания были так точны, словно он внутри, не полаявая вида, сам только что проигрывал всю твою роль. И что бы актер ни предлагал, Шукшин-режиссер никогда не начинал, как иные мастера, с того: нет, мол, это не годится! «Давайте, — говорил, — попробуем!» А сам отходил как-то в сторонку, словно хотел затеряться на съемочной площадке, чтобы не помешать актерскому эксперименту даже взглядом. Потом вновь появлялся: «Ну что ж, можно, можно и так... Даже интереснее...» Я не знаю, может быть, с другими актерами он работал и по-другому. Я пишу о том, что видел, испытывал сам. Мы никогда, ни разу не расходились с ним в его задумке. Может, оттого и работало нам так удивительно легко. Вообще в моей жизни — редкий случай, когда бы я спорил с каким-нибудь режиссером, отстаивал бы позицию, может, и верную, но мешающую целостности замысла фильма. У Шукшина в его фильмах — он их сделал пять, в трех из них играл я и потому могу говорить с уверенностью — я ни разу не видел, чтобы актеры были «не те», неправильно выбранные. У него точное видение, абсолютный «слух» на актера для своей картины. А это — дар немалый и редкий.

Правда, я считаю, что в фильме «Печки-лапочки» моя роль профессора в сценарии лучше, она была с биографией, что позволяло мне как актеру точнее определить, в чем неординарность его характера. Но случилось так, что в той картине снималась впервые в большой роли Лидия Федосеева-Шукшина, и режиссер чувствовал свою особую ответственность за ее дебют, да и сам Василий Макарович снимался в главной роли. Вот мне и кажется, что роль эта не очень-то задалась мне. Нет, не иду я тут причины вне себя. Просто досадно, что сам-то я, видимо, не сумел «дотянуться» до образа, который был задуман и написан Шукшиным в сценарии.

И тем не менее творческое общение с ним в работе над образами Ермолая или председателя колхоза Рязанцева в «Странных людях» говорило мне, что мы необычайно близки — по духу, по главным, определяющим, народным, жизненным и художественным принципам. Вот и думали мы о нашем дальнейшем сотрудничестве. И очень, жалею, что так и не сыграл пусть даже самую маленькую, эпизодическую роль в его «Каине красном». Для меня как актера это было бы наслаждением.

«Однажды, перед самым отъездом на съемки фильма «Они сражались за Родину» С. Бондарчука, мы встретились с ним в Центральном Доме актера, и он повел разговор о своем замысле картины о Степане Разине. Еще раз подтвердил о своем желании дать мне замечательную роль Стыря, старика, который имел особое влияние на Степана Разина, мог уговорить, утихомирить его гнев. Стыря, этот старик, был близок отцу Степана и при Разине стал таким негласным советником. Написан он был с тонким народным юмором и любовью. Шукшин рассказывал мне о задуманном эпизоде в одной из кровавых сценок Стыря погибает, как вот Степан Разин, одев его, мертвого, в длинную белую холщовую рубаху, посылал за стол вместе с живыми, чтобы отпраздновать победу. Он рассказывал, как задумал всю картину, как хотел сыграть сам Степана Разина. А я спросил: не будет ли ему тяжело играть и снимать одновременно такое широкое, эпическое по размаху, полотно? «Я думаю — ослино, — ответил он. — Полотно, ослино. Надо отходнуть... Что-то я стал уставать. Надо бы привести себя в порядок». Зачем же он согласился сыграть в фильме шолоховского бронебойщика Лопатина? «Ну я никак не мог отказаться от роли Лопатина — очень люблю Шолохова и Бондарчука. Поэтому и согласился, отложив свои планы». Сказал, будто точку поставил.

То был наш последний разговор. Поди знай, что такое могло случиться.

Вот так, мне кажется, и ушел преждевременно от нас Шукшин, не допев великолепнейшую русскую песню. Припадая к истокам народной жизни, он сам вошел в нее, растворился...

Особой зоркостью художника владел Василий Шукшин. В последнее время он говорил, что бросит кино, уйдет в литературу. Не знаю, как бы сложилось все в действительности. Знаю только: он не смог бы жить одной жизнью. Ему и трех не хватало. Таким вот он и запомнился... Наверное...

Николай САНАЕВ,
народный артист СССР.

Последний фильм



Был в нем крепкий стержень, присущий русскому народу. Оттого и книги его так чисты и правдивы. Он не был мастером словесной вязи, но в его строках сохранилось столько боли, страдания, столько искренности, столько любви и своей великой чужды, соловьиной Родины-матери, что после первых же строк, что после первых же страниц забываешь про все на свете и дышишь одним воздухом с его «чуждыми», живешь одною жизнью с людьми, которыми густо был заселен мир его творчества. И еще он умел верить. Верить так, как дано дано человеку исконно. И вера эта в свой народ, в будущее тоже держалась на любви и России. Об этом свидетельствуют все материалы, воскресшие в течение нынешнего года образ Василия Макаровича на наших страницах.

В этом году 25 июля Шукшину исполнилось бы шестьдесят лет. На его родине, в Спостках на Алтае, соберутся многие почитатели таланта писателя, состоятся знаменитые Шукшинские чтения, ставшие главной традицией. Для любого журналиста, кому выпадает счастье побывать на них, поездка к Шукшину — не просто увлекательная, это — эзическая, ибо писать об этом надо без фальши.

Люди едут к Шукшину... Едут, чтобы прикоснуться сердцем и незабываемым истокам Правды, почерпнуть сил и мужества. Василий Макарович писал: «Ничего о душе не позабыть...» И за этим тонке редчайшее провидение, предчувствие, предзнаменование и потрясение. Столько открытий сделали мы в последние годы — неожиданных, трудных, а порой и просто мучительных. Ветер перемен принес не только радость и надежду, но и поднял мутную пену, через которую много так трудно разглядеть истину. Люди едут к Шукшину в Спостки. Я — тоже. Понимать, что такое было для Шукшина и рассказать читателям газет: что за живительные воды питали его глубоко народный талант? И так хочется, чтобы каждый, кто прикасается сегодня к Шукшину, мог бы прикоснуться к нему, к его «Вербу»! Верую в Россию, в ее будущее...

Н. БУЛАВИНЦЕВ.

Шукшины в Подмосковье



Однажды фотожурналист А. Ковтун получил редакционное задание сделать фоточерк о Василии Макаровиче Шукшине.

— Нинамих специальных съемок делать не будем. Снимайте, как сможете. Времени у меня для этого нет, — сурово встретил его Шукшин.

Писатель, актер, режиссер работал, а рядом с ним незримо присутствовал фотохудожник. Мы знакомимся сегодня с фотоподборкой А. Ковтуна. Внизу — один из первых снимков, сделанный им в Подмосковье, в Бронницах. «За весь день удалось снять всего два хороших кадра, — вспоминает А. Ковтун. — Один из них я снял в тот момент, когда семья Шукшиных проходила мимо какого-то поваленного дерева. Я заметил, что Василий Макарович, в этот момент ушел в себя... Снимок получился грустным. Я понял, что это его естественное состояние — он мог совершенно неожиданно отключиться от окружающего мира, когда приходили никакая-то мысль, фраза, образ».

Второй снимок — из последних, сделан во время съемок фильма С. Бондарчука «Они сражались за Родину». Оставалось несколько шагов до завершения съемки. Шукшин в образе Лопатина, а рядом — С. Бондарчук...

Фото А. Ковтуна.